

*Число*  
**ТЕККЕРЕЙ**  
*Записки  
Барри Линдена*



# Уильям Мейкпис Теккерей Записки Барри Линдона

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=595295](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=595295)  
Записки Барри Линдона: Эксмо; М.: 2011  
ISBN 978-5-699-45742-7*

## **Аннотация**

История ирландского авантюриста Редмонда Барри, женившегося на богатой наследнице из высшего света, и его разоблачение – в плутовском романе Уильяма Теккерей. Экранизация Стэнли Кубрика стала одной из самых выразительных костюмных драм мирового кинематографа.

## Содержание

Глава I	4
Глава II,	21
Глава III	31
Глава IV,	39
Глава V,	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Уильям Теккерей

## Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим

### Глава I

#### Мое родословие и моя фамильная хроника. Я одурманен нежной страстью

Так уж повелось с адамовых времен, что, где бы какая ни приключилась напасть, корень зла всегда в женщине. С тех пор как существует наш род (а это и есть, почитай что, с адамовых веков, столь древен, и знатен, и славен дом Барри, как всякий знает), женщины оказывали на его судьбу поистине огромное влияние.

Мне думается, в Европе не сыскать дворянина, который не был бы наслышан о доме Барри из Барриога в Ирландском королевстве, а уж более прославленного имени не найти ни у Гвиллима, ни у д'Озье; и хотя как человек света я знаю цену притязаниям иных *выскачек*, чье родословие подошло бы лакею, начищающему мне сапоги, и первым готов посмеяться над самохвальством многих моих соотечественников, кои объявляют себя потомками ирландских королей и о вотчине, где впору прокормиться свинье, толкуют, словно это княжеское поместье, — а все же из уважения к истине долгом почитаю сказать, что род мой был самым знатным на всем острове, если не в целом мире, и что владения его, ныне столь ничтожные, — ибо львиную долю их отторгли войны, предательство, мешкотность и расточительство предков, а также их приверженность старой вере и династии, — были некогда необозримы и охватывали многие графства во времена, когда Ирландия была еще благоденствующей страной. И я по праву увенчал бы свой фамильный герб ирландской короной, когда бы множество пустоголовых выскачек не унизили это высокое отличие, присвоив его себе.

Кабы не женщина, вполне возможно, я ныне бы сам носил эту корону. Вы, кажется, удивлены? А ведь что может быть проще! Найдись отважный военачальник, который возглавил бы рать моих соотечественников, вместо скулящих трусов, склонивших выю перед Ричардом II, ирландцы, пожалуй, были бы сейчас свободными людьми; найдись решительный полководец, который дал бы отпор кровавому насильнику Оливеру Кромвелю, мы бы навек избавились от ига англичан. Но ни один Барри не встретил захватчика на поле брани; напротив, мой предок Саймон де Барри передался первому из названных монархов и взял в жены дочь мюнстерского короля, сыновей которого он безжалостно зарубил в бою.

Во времена же Оливера звезда наша закатилась, и ни одному Барри не пришлось уже кликнуть клич против кровавого пивовара. Мы больше не были владетельными князьями, наш злосчастный род уже за век до того утратил фамильное достояние вследствие гнусной измены. Я доподлинно это знаю, так как не раз слышал от матушки, она даже увековечила это событие в шитой цветными шерстями родословной, коей украсила одну из стен нашей желтой барривилльской гостиной.

То самое ирландское поместье, где ныне хозяйничают англичане Линдоны, было некогда нашей родовой вотчиной. Рори Барри из Барриога владел им при Елизавете, а также доброй половиной Мюнстера в придачу. Род Барри и род О'Мэхони исстари враждовали, и вот случилось, что некий английский полковник проходил через владения Барри с вооруженным отрядом в тот самый день, когда О'Мэхони вторглись в наши земли и захватили богатую добычу, угнав наши отары и стада.

Сей молодой англичанин по имени Роджер Линдон, Линден, или Линдейн, был принят семейством Барри со всем радушием, а так как те как раз собирались вторгнуться в земли О'Мэхони, он охотно пришел им на помощь со своими копейщиками и выказал себя испытанным воякой, ибо О'Мэхони были разбиты наголову, тогда как Барри не только вернули свое достояние, но, по свидетельству старой хроники, захватили у неприятеля вдвое больше добра и скота.

Наступали холода, и гостеприимные хозяева уговорили молодого воина у них перезимовать, людей же его расквартировали по хижинам вместе со своими висельниками – по солдату на каждого холопа. Англичане, как им свойственно, по-свински обращались с ирландцами, вследствие чего драки и убийства не утихали, и местные жители поклялись разделаться с чужаками.

Барри-сын (от коего я веду свой род) не меньше ненавидел англичан, чем любой смерд в его поместье, и, когда на предложение убратся восвойси англичане ответили отказом, он сговорился с друзьями вырезать их всех до одного.

И надо же было заговорщикам посвятить в свои планы женщину, наследницу Родерика Барри! Она же, питая склонность к англичанину Линдону, выдала ему сию тайну; проклятый англичанин, упреждая заслуженное возмездие, сам напал на ирландцев, и в этой свалке был убит Фодриг Барри, мой предок, а также сотни его людей. Крест, воздвигнутый на перекрестке Баррикросс у Карригнадиhoула, еще и ныне указывает, где происходила эта чудовищная бойня.

Линдон взял в жены дочь Родерика Барри и стал подбираться к его поместью; и хотя живы были потомки Фодрига, чему я непреложное доказательство<sup>1</sup>, английский суд присудил поместье англичанину, как это всегда бывает, когда тягаются англичане и ирландцы.

Итак, если б не женская слабость, я по праву рожденья владел бы поместьями, кои достались мне потом единственно в силу моих заслуг, как вы со временем услышите. Но вернемся к моей фамильной хронике.

Батюшка был хорошо известен в избранных кругах как Англии, так и Ирландии под прозвищем Лихой Гарри Барри. Как и многие младшие отпрыски благородных семейств, он готовился к профессии адвоката и был приписан к конторе видного стряпчего на Сэквилл-стрит, в Дублине; при своем уме и способностях он, несомненно, преуспел бы на этом поприще, когда бы его светские таланты, пристрастие к мужским потехам, а также исключительные личные достоинства не предназначали ему более славное призвание. Еще будучи писцом у стряпчего, он содержал семь скаковых лошадей, и ни одна охота в поместьях Килдеров и Уиклоу не обходилась без него; это он на своем сером жеребце Эндимионе оспаривал первенство у капитана Пантера на знаменитых скачках, о коих любители вспоминают и по сей день; я заказал картину, увековечивающую это событие, и повесил ее над камином в столовой замка Линдон. Год спустя отец на том же Эндимионе скакал в присутствии его величества блаженной памяти Георга II и был удостоен кубка, а также августейшей похвалы.

Хоть батюшка и был вторым сыном, он без больших хлопот унаследовал фамильное достояние (ныне сведенное к жалкой ренте в четыреста фунтов); ибо старший сын деда Корнелий Барри (прозванный шевалье Борнь<sup>2</sup> вследствие полученного в Германии увечья) остался верен старой религии, которую от века исповедовало наше семейство, и с честью сражался не только под чужими знаменами, но и против его святейшего величества Георга II, участвуя в злополучном Шотландском восстании 45-го года. В дальнейшем мы не раз встретимся с помянутым шевалье.

---

<sup>1</sup> Мы так и не нашли подтверждения тому, что мой пращур Фодриг был обвенчан со своей супругой, из чего я заключаю, что онный Линдон уничтожил брачный контракт и убил священника, равно как и свидетелей венчального обряда. – Б. Л.

<sup>2</sup> От французского «borgne» – «кривой», «одноглазый».

Что до батюшкина обращения, то этим счастливым событием я обязан моей дорогой матушке мисс Белл Брейди, дочери Юлайсеса Брейди из замка Брейди в графстве Керри, эсквайра и мирового судьи. Мисс Белл слыла в Дублине первой красавицей и щеголихой. Увидев ее в собрании, батюшка влюбился без памяти, но она и слышать не хотела о католке да вдобавок – писце стряпчего; и вот, побуждаемый любовью, драгоценный батюшка, воспользовавшись законами доброго старого времени, присвоил себе права дяди Корнелия и отнял у него родовое имение. Впрочем, не только ясные девичьи глаза совершили это чудо; несколько джентльменов из лучшего общества также способствовали сей благотворной перемене, – я не раз слышал, как матушка рассказывала, смеясь, о торжественном отречении в трактире за доброй выпивкой в присутствии сэра Дика Рингвуда, лорда Бэгуига, капитана Пантера и двух-трех юных городских повес. Лихой Гарри выиграл в тот вечер в фараон триста гиней, а наутро дал требуемые показания против брата; жаль только, что батюшкино обращение посеяло холодок между кровными родственниками и побудило дядюшку Корни примкнуть к бунтовщикам.

Как только досадное препятствие было устранено, милорд Бэгуиг предоставил батюшке свою яхту, стоявшую на приколе в Пиджен-хаусе; и красotka Белл Брейди, сдавшись на уговоры, бежала с ним в Англию, обманув надежды стариков родителей и многочисленных обожателей, – а были это все богач к богачу (как я тысячу раз слышал от самой матушки). Свадьбу сыграли в «Савое». Дед вскоре умер, и, войдя в права наследства, Гарри Барри, эсквайр, с честью поддерживал в Лондоне славу нашего имени. Это он продырявил шпагой знаменитого графа Тирселина на пустоши позади Монтегью-хауса. Он был завсегдатаем «Уайта» и всех шоколадных лавок столицы; матушка, надо отдать ей должное, была ему достойной парой. И вот наконец, после славной Ньюмаркетской победы, одержанной на глазах у его святейшего величества, счастье улыбнулось Гарри Барри: милостивый монарх обещал о нем позаботиться. Но – увы! – его предупредил другой монарх, чья воля не терпит отлагательства: смерть настигла батюшку на Честерских скачках. Он умер в одночасье, оставив меня беспомощным сиротой. Мир праху его! Были у него свои недостатки: это батюшка промотал наше княжеское достояние, зато в храбрости он не уступал ни одному человеку, когда-либо поднимавшему заздравную чашу или объявлявшему число очков, бросая кости, и выезжал он цугом, как светский кавалер, ни в чем не отступающий от моды.

Не знаю, оплакал ли милостивый монарх внезапную кончину моего отца, – по словам матушки, он все же уронил королевскую слезинку, – но нам это мало помогло. Единственное, что осталось в доме во утешение вдове и кредиторам, был кошель с девяноста гинейми, и матушка, разумеется, прибрала его к сторонке вместе с фамильным серебром, а также своим и мужниным гардеробом. Погрузив эти пожитки в наш рыдван, она отправилась в Холихед, где и села на судно, отплывающее в Ирландию. Останки батюшки сопровождали нас в самом пышном катафалке с самыми пышными перьями, какие можно было достать за деньги; ибо, хоть супруги частенько ссорились, смерть батюшки все искупила для этой женщины с пылким и благородным сердцем; она устроила ему невиданно пышные похороны и воздвигла над его прахом памятник (спустя много лет мне пришлось за него уплатить), на коем он был назван самым мудрым, беспорочным и любящим из супругов.

Отдавая усопшему сей печальный долг, вдова истратила чуть ли не последнюю гиней, но истратила бы несравненно больше, если б выполнила хотя бы треть обязательств, налагаемых подобной церемонией. Соседи по Барриогу – усадьбе, где стоял наш старый дом, – хоть и гневались на отца за отступничество, не отвернулись от него в эту годину скорби, и плакальщики, посланные мистером Плюмажем, лондонским гробовщиком, сопровождать драгоценные останки, в сущности, оказались не у дел. Итак, памятник и склеп в церковном подвале – вот и все, что осталось от моих обширных владений; ибо мебель нашу до послед-

него стула отец продал некоему стряпчему Нотли, и в покосившемся мрачном доме ожидали нас голые стены<sup>3</sup> (*Прим. издателя.*).

Столь пышные похороны завоевали матушке репутацию женщины независимой и светской, и когда она написала своему брату Майклу Брейди, сей достойный джентльмен, нимало не медля, прибыл издалека, чтобы обнять ее и пригласить от имени своей супруги в замок Брейди.

Еще в пору батюшкина жениховства дядюшка Мик и Барри повздорили, как это бывает между мужчинами, и дело у них дошло до крупной размолвки. Когда Барри увез его сестру, Брейди поклялся, что в жизни не простит беглецов; но, приехав в сорок шестом году в Лондон, он снова сдружился с Лихим Гарри, гостил у него в его нарядном доме на Кларджес-стрит, проиграл ему с десяток гиней, разбил при его содействии головы двум-трем ночным сторожам, — эти дорогие воспоминания заронили в сердце добряка особую нежность к Белл и ее сыну, и он принял нас с распростертыми объятиями. Миссис Барри поступила бы, возможно, разумнее, если б сразу открыла родным свои печальные обстоятельства; но, прибыв в раззолоченной коляске, украшенной огромными гербами, она произвела на невестку и на прочих жителей графства впечатление богатой и влиятельной особы.

Некоторое время миссис Барри, как и должно, заправляла всем в замке Брейди. Она командовала слугами и преподавала им не один урок лондонской опрятности, в чем они, кстати, весьма нуждались. Что же до «Редмонда-англичанина», как меня здесь называли, то со мной носились, точно с маленьким лордом; ко мне были приставлены лакей и нянька, и честный Мик исправно платил им жалованье, чем отнюдь не баловал собственных слуг, — словом, из кожи лез, чтобы утешить сестру в ее горе. Матушка, со своей стороны, обещала назначить любезному братцу изрядную сумму на свое и сына содержание, как только ее дела будут приведены в порядок. Она также обещала ему перевезти свои щегольские мебели с Кларджес-стрит в замок Брейди, чтобы украсить его покои, имевшие весьма заброшенный вид.

Вскоре, однако, выяснилось, что негодяй домохозяин захватил каждый стол и стул, на какие по праву рассчитывала вдова. Имение, которое мне предстояло унаследовать, прибрали к рукам алчные кредиторы, и единственным источником существования вдовы и ребенка была рента в пятьдесят фунтов, выплачиваемая нам лордом Бэгуигом, которого связывали с покойным какие-то дела по скаковым конюшням. Похвальные намерения матушки отблагодарить брата так и пропали втуне.

Едва лишь открылось, как бедна золовка, миссис Брейди из замка Брейди, не к чести ей будь сказано, перестала заискивать в маменьке, как неизменно делала до сей поры, прогнала со двора лакея и няньку и объявила миссис Барри, что та вольна последовать за ними, как только ей будет благоугодно. Миссис Мик была особа низкого рождения, вульгарного и своекорыстного направления мыслей; а посему вдова по истечении двух-трех лет (за какое время ей удалось сберечь почти весь свой небольшой доход) согласилась выполнить желание миссис Брейди и заодно поклялась, дав волю справедливому и лишь до поры до времени мудро сдерживаемому гневу, что не переступит порог замка Брейди, доколе жива его хозяйка.

Новое свое жилище матушка обставила с примерной бережливостью и отменным вкусом, и никогда она, невзирая на бедность, не теряла чувства собственного достоинства и уважения всей округи. Да и как можно было не уважать даму, жившую в Лондоне, вхожую в самое изысканное общество столицы и (как она торжественно уверяла) представленную ко

---

<sup>3</sup> В другом месте «Записок» мистер Барри называет свой родной дом одним из великолепнейших дворцов Европы — такие противоречивые заявления не редкость у его соотечественников; что до ирландского поместья, на которое притязает мистер Барри, то известно, что дед его был стряпчим и жил своим трудом.

двору! Эти преимущества давали ей право, коим, на мой взгляд, злоупотребляют иные уроженцы Ирландии, удостоенные этой чести, – право с презрением глядеть на тех, кто никогда не выезжал за пределы отчизны и не жывал в Англии. Так, стоило миссис Брейди показаться в новом туалете, как ее золовка неизменно говаривала: «Бедняжка! Какое у нее может быть представление о настоящем шике!» И хоть ей и льстило, что ее зовут Хорошенькой вдовушкой, еще больше гордилась она прозванием *Английской* вдовы.

Миссис Брейди не оставалась у нее в долгу: она уверяла, будто покойный Барри был нищий и банкрот; высший свет он якобы видел из-за приставного стола в доме лорда Бэгуига, где его терпели на положении блюдолиза и лъстеца. Что же до миссис Барри, то тут госпожа замка Брейди вдавалась в намеки и вовсе оскорбительные. Но стоит ли ворошить старые наветы и повторять сплетни вековой давности? Названные лица жили и враждовали еще в царствование Георга II; добрые или злые, красивые или безобразные, богатые или бедные – все они ныне сравнялись; и разве воскресные газеты и судебная хроника не поставляют нам еженедельно куда более свежую и пряную пищу для пересудов?

Но что бы там ни было раньше, никто не станет отрицать, что, удалившись от света после смерти мужа, миссис Барри жила схимницей и даже тень подозрения не смела ее коснуться. Если Белл Брейди была когда-то самой отчаянной кокеткой во всем Уэксфордском графстве и если добрая половина местных кавалеров лежала у ее ног и каждого она умела обласкать и обнадежить, то Белл Барри вела себя со сдержанным достоинством, граничившим с чопорностью, была сурова и недоступна, что твоя квакерша. Немало женихов, плененных чарами девы, возобновили свои предложения вдове; но миссис Барри отвергла всех искателей, клялась, что намерена жить только ради сына и памяти почившего праведника.

– Нечего сказать, праведник! – негодовала зловредная миссис Брейди. – Такого греховодника, как Гарри Барри, свет не видывал. Да и кто же не знает, что они с Белл жили как кошка с собакой? Если она отказывается выходить замуж, то уж, верно, у нее другой на примете, она, поди, спит и видит, чтобы лорд Бэгуиг овдовел.

Ну, а хоть бы и так, что в том дурного, скажите! Неужто вдова Барри недостойна руки любого английского лорда? И разве не живет в семье предание, что женщине суждено восстановить богатство рода Барри? Если матушка вообразила себя этой женщиной, думается, у нее были на то веские основания; граф (мой крестный) всегда был необычайно к ней внимателен; я и не подозревал, как крепко засела у нее мысль способствовать таким образом моему преуспеянию в свете, пока в пятьдесят седьмом году его светлость не обвенчался с мисс Голдмор, дочерью богатейшего индийского набоба.

Тем временем мы по-прежнему обитали в Барривилле и при наших скудных средствах жили, можно сказать, на барственном ногу. Из тех пяти-шести семейств, что составляли общество Брейдитауна, никто не одевался приличнее бедной вдовы; и хоть матушка так и не сняла траур по своему почившему супругу, однако она тщательно следила, чтобы наряды как можно лучше оттеняли ее природную красоту, и по меньшей мере шесть часов в сутки отдавала на то, чтобы перекраивать, перешивать и отделывать их по последней моде. Она носила самые широкие кринолины и самые изящные фалбалы и ежемесячно получала из Лондона донесения (за печатью лорда Бэгуига) о новинках столичной моды. Цвет лица у нее был столь свежий, что она не нуждалась в румянах, бывших тогда в большом потреблении. Пусть белое остается белым, а розовое – розовым, говорила она мадам Брейди, чей желтый цвет лица не поддавался никакой штукатурке, – судите же, читатель, как обе женщины ненавидели друг друга! Словом, она была так хороша, что дамы во всей округе считали ее образцом, а молодые люди приезжали за десять миль в церковь замка Брейди, чтобы только ее увидеть.

Но если (как и всякая женщина, известная мне лично или по книгам) матушка гордилась своей красотой, то, надо отдать ей должное, еще больше гордилась она сыном и тысячу

раз повторяла мне, что другого такого красавчика поискать надо. Разумеется, это дело вкуса. Но когда человеку перевалило за шесть десятков, он может без пристрастия говорить о себе четырнадцати лет, и смею вас уверить, матушка была недалеко от истины в своем лестном мнении. Добрая душа любила наряжать меня: в праздники и по воскресеньям я выходил в бархатном кафтане, на боку меч с серебряным эфесом, золотая подвязка пониже колена — ни дать ни взять молодой лорд. Матушка расшила для меня несколько изящных камзолов, и не было у меня недостатка ни в кружевах для манжет, ни в свежих лентах для волос, и когда мы в воскресенье приходили в церковь, даже завидующая миссис Брейди признавала, что более красивой пары не найти во всем королевстве.

В этих случаях госпожа замка Брейди вознаграждала себя язвительными замечаниями по адресу некоего Тима, моего так называемого камердинера: он провожал нас с матушкой в церковь, неся пухлый молитвенник и трость, одетый в нарядную ливрею одного из наших выездных лакеев с Кларджес-стрит, в которой, по причине кривых ног, выглядел весьма неавантжно. Но при всей своей бедности мы слишком гордились дворянским званием, чтобы, испугавшись чьих-то колкостей, поступиться преимуществами своего ранга, и, шествуя по среднему проходу к нашей скамье, ступали чинно и величественно, точно сама супруга лорда-наместника с наследником. Усевшись на место, матушка отвечала на обычные вопросы священника так громко и с таким достоинством возглашала «аминь», что любо было слушать, а когда она пела псалмы сильным, звучным голосом, поставленным в Лондоне наимоднейшим учителем, то заглушала пение и тех немногих прихожан, которые решались к ней присоединиться. Да и вообще у матушки было до пропасти разнообразных талантов — недаром она считала себя самой красивой, самой одаренной и добродетельной женщиной на свете. Часто-часто в разговоре со мной и соседями она толковала нам о своем смирении и благочестии — да так истово, что даже упрямый скептик вынужден был бы с ней согласиться.

Переехав из замка Брейди в местечко Брейдитаун, мы поселились в весьма неказистом домишке. Однако матушка, не смущаясь этим, окрестила его Барривилль, и мы не жалели усилий, чтобы придать ему блеску. Я уже упоминал о родословной, висевшей в гостиной, которую маменька нарекла желтым салоном, тогда как моя комната называлась розовой спальней, а матушкина — палевой (я словно вижу их перед собой!). К обеду Тим звонил в большой колокол, перед каждым из нас ставили по серебряному кубку, и матушка с правом говорила, что рядом с моим прибором стоит кларет, которым не побрезговал бы любой сквайр. Да так оно и было на самом деле, но только по младости лет мне не разрешалось его отвеждать: вино помаленьку старилось в графинчике и со временем достигло преклонных лет.

Дядюшка Брейди самолично убедился в этом, когда как-то (невзирая на семейную ссору) явился к нам в Барривилль к обеду и неосмотрительно приложился к графину. Надо было видеть, как он плевался и какие корчил гримасы! А ведь этому честному джентльмену было решительно все равно, что пить и в какой компании. Он ни с кем не гнушался выпить до положения риз, будь то пастор или поп — последнее к крайнему негодованию матушки: как истая синяя нассаутка, она презирала приверженцев старой веры и считала неместным находиться под одной крышей с темным папистом. Что до сквайра, то он не знал таких предубеждений; это был самый покладистый, самый добродушный и ленивый человек, когда-либо живший на свете; спасаясь от своей миссис Брейди, он немало часов проводил у одинокой вдовы. Ко мне он, по его словам, привязался как к собственным сыновьям, и маменька, крепившаяся несколько лет, не устояла и разрешила мне воротиться в замок, хотя сама осталась безоговорочно верна клятве, данной в пику невестке.

В первый же день моего возвращения в замок Брейди и начались, собственно, мои невзгоды. Мастер Мик, мой кузен, девятнадцатилетний верзила (ненавидевший меня всей душой, правда, я платил ему тою же монетой), прошелся за столом над бедностью моей

матушки, поощряемый хихиканием всей женской части дома. Когда мы удалились на конюшню, где Мик имел обыкновение выкуривать свою послеобеденную трубку, я, разумеется, не стал ему молчать, и у нас завязалась драка на добрых десять минут; я отчаянно сопротивлялся и даже поставил ему фонарь под левым глазом, а ведь мне было всего-то двенадцать лет. Конечно, Мик вздул меня, но побои в столь нежном возрасте не производят большого впечатления, как я не раз убеждался в многочисленных стычках с оборвышами Брейдитауна, с которыми уже тогда расправлялся весьма успешно. Услышав о моей отваге, дядюшка выразил живейшее удовольствие, а кузина Нора приложила мне к носу оберточную бумагу, смоченную в уксусе. Домой в этот вечер я шел, подкрепившись пинтой кларета и чувствуя себя героем: шутка ли сказать – я десять минут не поддавался Мику.

И хоть любезный братец не изменил своего дурного обращения и не пропускал случая меня отдубасить, это не мешало мне с великим удовольствием проводить время в замке Брейди, пользуясь покровительством моих кузин, – по крайней мере, некоторых, – и добротой дядюшки, всячески меня баловавшего. Он подарил мне жеребенка и стал приучать к верховой езде, брал с собой на охоту с гончими, показывал, как ставить силки и капканы, как бить птицу влет. А со временем я избавился от преследований Мика; из колледжа Святой Троицы воротился мастер Улик, ненавидевший старшего братца, как это нередко бывает в благородных семьях, и взял меня под свое покровительство. И поскольку Улик был выше ростом и сильнее Мика, я, Редмонд-англичанин, как меня называли, чувствовал себя в безопасности, за исключением, впрочем, тех случаев, когда самому Улику приходило в голову меня отодрать, что он и делал всякий раз, как считал нужным.

Не оставалось в небрежении и мое светское воспитание. Обладая от природы разносторонними способностями, я вскоре оставил за флагом большинство окружающих. У меня был верный слух и приятный голос, и матушка не жалела стараний, чтобы развить их; она же учила меня степенно и грациозно выступать в менуэте, заложив этим основу моих будущих успехов в жизни. Более вульгарным танцам я учился (хоть и не стоило бы в том сознаваться) в лакейской, где всегда найдется кто-нибудь умеющий наигрывать на волынке и где никто не превосходил меня в матросском танце и джиге.

Что касается книжных познаний, то я упивался чтением пьес и романов, составляющих важнейшую часть образования изысканного джентльмена, и не пропускал случая купить у книгоноши одну-две баллады, если в кармане у меня имелся пенни. Что же до скучнейшей грамматики, а также греческого, латыни и прочей тарабарщины, то я их терпеть не мог и уже тогда говорил без колебаний, что эта премудрость мне ни к чему.

И я доказал это самым неопровержимым образом, когда мне исполнилось тринадцать лет. Получив по завещательному распоряжению тетушки Бидди Брейди сто фунтов, матушка решила употребить их на мое образование и устроила меня в знаменитую в то время школу доктора Тобиаса Тиклера в Бэллиуэжете – или Гнилоуэжете, как дядюшка предпочитал его называть. И вот ровно шесть недель спустя после того, как меня отвезли к его преподобию, я неожиданно объявился в замке Брейди, отмахав пешком сорок миль и оставив почтенного доктора в состоянии, близком к удару. Если в беге, прыжках и кулачной драке я вскоре вышел на первое место в школе, то древние языки мне решительно не давались; семь раз меня высекли безо всякой пользы для моей латыни, когда же очередь дошла до новой порки, восьмой по счету, я решительно запротестовал, не видя в ней большого проку. «Попытайте что-нибудь новенькое, сэр!» – предложил я почтенному доктору, когда он пригрозил мне очередной лупцовкой; однако он стоял на своем; защищаясь, я запустил в него грифельной доской, а учителя-шотландца сбил с ног свинцовой чернильницей. Школьники поддержали мой протест дружным «ура», слуги бросились меня вязать; но, вытащив из кармана большой складной нож, подарок кузины Норы, я поклялся вонзить его в жилетку первому, кто осмелится меня задержать, и все без слов расступились, давая мне дорогу. Той ночью я спал в

двадцати милях от Бэллиуэкета в хижине бедняка арендатора, угостившего меня картошкой и молоком, – позднее, в дни своего величия, приехав в Ирландию, я подарил этому славному человеку сто гиней. Как бы они мне сейчасгодились! Но что толку в пустых сожалениях! Случалось мне отдыхать и на более жестком ложе, чем то, что ждет меня сегодня, и довольствоваться худшим ужином, нежели тот, каким угостил меня честный Фил Мерфи в вечер моего побега. Итак, вся моя учеба свелась к шести неделям. Говорю об этом в назидание иным родителям: немало встречал я потом книжных червей, не исключая грузного, неуклюжего, пучеглазого старого толстяка, доктора Джонсона, проживавшего в одном из переулков на Флит-стрит в Лондоне, которого я шутя переспорил (дело было в кофейне «Боттона»), – однако ни в отношении учености или поэзии, ни в том, что я называю натуральной философией, иначе говоря – житейской мудрости, ни в верховой езде, музыке, прыжках или фехтовании, ни в знании лошадей и бойцовых петухов, ни в манерах безукоризненного джентльмена и светского щеголя, могу поклясться, Редмонд Барри не часто встречал себе равного.

– Сэр, – сказал я доктору Джонсону во время помянутой встречи (его сопровождал некий мистер Босуэлл, родом из Шотландии, тогда как меня ввел в клуб мой соотечественник мистер Гольдсмит), – сэр, – сказал я в ответ на какую-то его громозвучную греческую тираду, – чем кичиться предо мной своими познаниями, цитируя Аристотеля и Платона, не скажете ли вы, какая лошадь на той неделе придет в Эпсومه первой? И беретесь ли вы пробежать шесть миль без передышки? И попадете ли вы в туза пик десять раз кряду без промаха? Если да, я готов весь день слушать вашего Платона и Аристотеля.

– Да знаете ли вы, кто перед вами? – взъелся на меня джентльмен, говоривший с заметным шотландским акцентом.

– Придержите язык, мистер Босуэлл, – остановил его старый училишка. – Виноват я сам. Мне не следовало щеголять своими знаниями греческого перед этим джентльменом, и он ответил мне как должно.

– Доктор, – сказал я, посмотрев на него лукаво, – подберите мне рифму к слову *Аристотель*.

– Портвейн, если угодно, – отозвался, смеясь, мистер Гольдсмит.

И до того, как покинуть кофейню в тот вечер, мы употребили *шесть рифм к слову Аристотель*. Эта шутка, когда я рассказал о своей встрече у «Уайта» и в «Какаовом Дереве», пошла в ход, и потом только и слышалось: «Человек, тащите сюда одну из рифм капитана Барри к Аристотелю!» Однажды, в «Какаовом Дереве», когда я был уже на взводе, молодой Дик Шеридан назвал меня великим Стагиритом – я и по сей день не уразумел, в чем тут соль. Но я отклонился от своего рассказа – пора нам вернуться домой, в добрую старую Ирландию.

С той поры я немало встречал знаменитостей; но, в тонкости изучив светское обращение, со всеми держался как равный. Быть может, вас удивит, где это я, деревенский сорванец, выросший среди ирландских сквайров и подвластных им арендаторов и конюхов, набрался таких изысканных манер, в чем отдавал мне должное всяк меня знавший? Дело в том, что я обрел первоклассного воспитателя в лице старого лесничего, когда-то служившего французскому королю при Фонтенуа; он-то и обучил меня светским танцам и обычаям, и ему же обязан я умением кое-как изъясняться по-французски, не говоря уже об искусстве владеть рапирой и шпагой. Мальчишкой я исходил с ним немало миль, прилежно слушая его рассказы о французском короле, об Ирландской бригаде, о маршале Саксонском и балетных танцовщицах. Встречал он за границей и моего дядюшку шевалье де Борнь. Словом, это был неисчерпаемый кладезь полезных сведений, коими он втихомолку со мной делился. Я не видел человека, который так искусно удил бы внахлестку, объезжал, лечил или выбирал коня; он учил меня всем мужским потехам, начиная от охоты за птичьими гнездами, и я навек сохраню благодарность Филу Пурселу как лучшему моему наставнику. Была у него

слабость – он любил заглянуть в чарочку, но я никогда не видел в том порока; и он терпеть не мог моего кузена Мика, каковой недостаток я так же охотно ему прощал.

С таким учителем, как Фил, я в пятнадцать лет был вполне просвещенным юношей и мог заткнуть за пояс любого из моих кузенов; к тому же и природа, насколько я понимаю, оказалась ко мне щедрее. Некоторые девицы семейства Брейди (как вы вскоре увидите) считали меня неотразимым. На ярмарках и бегах я не раз слышал от хорошеньких девушек, что они не отказались бы от такого кавалера, и все же, по правде сказать, я не пользовался расположением окружающих.

Прежде всего каждый знал, что я гол как сокол, но, возможно, благодаря влиянию матушки я был не менее спесив, чем беден. У меня было обыкновение похвастаться своим знатным родом, а также великолепием моих выездов, садов, погребов и слуг, и это – в присутствии людей, как нельзя лучше знавших наши плачевные обстоятельства. Если это были мальчишки и они поднимали меня на смех, я приходил в исступление и лез драться, – меня не раз приносили домой полумертвым. Когда матушка спрашивала о причинах потасовки, мой ответ неизменно гласил: «Я вступился за честь семьи». – «Защищай наше имя кровью своей, Редди, сынок!» – говорила эта праведница, заливаясь слезами; и сама она грудью стала б на его защиту и не постеснялась бы пустить в дело не только язык, но и зубы и ногти.

Когда мне минуло пятнадцать, в окружности на десять миль не было двадцатилетнего парня, с которым я не подрался бы по той или другой причине. Среди прочих двое сынков нашего священника, – мне ли якшаться с этим пищим отродьем! – и между нами разыгралось немало сражений за первенство в Брейдитауне; вспоминается мне и Пат Лурган, сын кузнеца, одержавший надо мной верх в четырех битвах, до того как мы вступили в решающий бой, из которого я вышел победителем; я мог бы назвать и много других доблестных подвигов, но лучше воздержусь: кулачные расправы не слишком достойный предмет для обсуждения в кругу благородных джентльменов и дам.

Однако есть предмет, сударыни, о коем речь пойдет ниже, – он уместен в любом обществе. Вы же день и ночь готовы о нем слушать. Стар и млад, все ваши мечты и думы о нем; красавицы и дурнушки (хотя, сказать по чести, я до пятидесяти лет ни одну женщину не находил уродиной), все вы молитесь этому кумиру; не правда ли, вы разгадали мою загадку? Любовь! Поистине, это слово состоит из сладчайших гласных и согласных нашего языка, и тот или та, что воротит нос от такого чтения, не заслуживает, по-моему, названия человека.

У дядюшки было десятеро детей, которые, как это часто бывает в больших семьях, делились на два лагеря или две партии: одни всегда брали сторону своей мамы, а другие – дядюшки – в бесконечных стычках между почтенным джентльменом и его дражайшей половиной. Фракцию миссис Брейди возглавлял Мик, старший сын, всячески меня изводивший и видевший в своем папеньке досадную помеху на пути к правам владения; зато Улик, второй по счету, был отцовский любимец, и мастер Мик боялся его как огня. Здесь не стоит перечислять имена всех девиц, в дальнейшем, видит бог, я достаточно от них натерпелся, однако старшая была причиною всех моих ранних злключения; то была мисс Гонория Брейди, самая хорошенькая в семье (что сестры ее, разумеется, единодушно отрицали).

Она говорила тогда, что ей девятнадцать, хотя на заглавном листке фамильной Библии, который я мог прочесть наравне со всяким (эта книга вместе с двумя другими и доскою для трикрака составляла всю дядюшкину библиотеку), значилось, что она родилась в тридцать седьмом году и была крещена доктором Свифтом, настоятелем собора Св. Патрика в Дублине; и, следственно, в пору, когда мы много бывали вместе, ей исполнилось двадцать три года.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что ее нельзя было назвать красавицей; для этого у нее были чересчур пышные формы и слишком большой рот; к тому же она пестрела веснушками, как яйцо куропатки, а волосы ее в лучшем случае напоминали цветом небезыз-

вестный овощ, который подается к отварной говядине. Я часто слышал эти соображения из уст матушки, но не давал им веры, предпочитая видеть в Гонории высшее существо, превосходящее всех других ангелов ее пола.

Всякий знает, что дама, изумляющая нас искусными танцами и пением, достигла такого совершенства благодаря долгой практике в тиши уединения и что романс или менуэт, исполняемый с грациозной легкостью в блестящем собрании, стоил ей немало трудов и усердия где-нибудь вдали от людских глаз; но то же самое можно сказать и о прелестных созданиях, изощренных в искусстве кокетства. Что до Гонории, то она практиковалась в нем неустанно; ей довольно было даже моей малости для проверки своих чар, или сборщика налогов, совершающего очередной обход, или нищего церковного служки, или юного аптекарского ученика из Брейдитауна, я, помнится, даже отколотил его по этой причине. Если он еще жив, приношу ему свои извинения. Бедняга! Разве он виноват, что запутался в сетях той, кого можно было назвать величайшей кокеткой в мире, если бы не ее скромное положение и сельское воспитание.

Сказать по правде – а ведь каждое слово этого жизнеописания непреложная истина, – моя страсть к Норе родилась самым неприятельным образом и не заключала сперва ничего романтического. Я не спас ей жизнь; наоборот, я чуть не убил ее, как вы сейчас услышите. Я не узрел ее при лунном свете играющей на гитаре и не вызволил из рук отпетых негодяев, как Альфонсо Линдамиру в известном романе; но однажды летом после обеда в Брейдитауне, забравшись в сад, чтобы нарвать себе крыжовника на сладкое, и думая только о крыжовнике, клянусь честью, я застал среди кустов Нору с одной из сестер, к которой она в тот день благоволила, – застал за тем же развлечением, какое привлекло сюда и меня.

– Редмонд, как «крыжовник» по-латыни? – спросила Нора, любившая позубоскалить.

– Я знаю, как по-латыни «дура», – увернулся я.

– Как, скажи! – подхватила бойкая мисс Майзи.

– Брысь, хохлатки! – отозвался я с обычной своей находчивостью.

И мы принялись обирать куст, смеясь и болтая в самом беззаботном расположении духа. Но, развлекаясь таким образом, Нора умудрилась поцарапать руку; выступила кровь, Нора вскрикнула, а рука у нее была на диво круглая и белая, я перевязал ее и, кажется, получил разрешение поцеловать; и, хотя это была нескладная здоровенная ручища, я счел оказанную мне милость восхитительной и отправился домой в полном упоении.

В ту пору я был слишком наивен, чтобы скрывать свои чувства; вскоре весь выводок сестер Брейди знал о моей страсти, поздравлял Нору и подшучивал над ее новым вздыхателем.

Трудно вообразить, какие муки ревности я терпел по вине жестокой кокетки. То она обращалась со мной как с ребенком, то как с заправским мужчиною. Стоило в доме объявиться новому гостю, и она меня бросала.

– Рассуди сам, голубчик Редмонд, – внушала она мне, – ведь тебе всего пятнадцать лет и у тебя ни пенни за душой.

Я клялся, что стану героем, какого еще не видали в Ирландии, и еще до того, как мне минет двадцать, так разбогатею, что смогу купить поместье в десять раз большее, чем замок Брейди. Ни одного из этих обещаний я, конечно, не сдержал, но думаю, что они оказали свое действие на мою юную душу и немало способствовали свершению тех великих деяний, коими я прославился и о коих вы услышите в свое время.

Об одном из них расскажу не откладывая, дабы мои читательницы уразумели, что за человек был юный Редмонд Барри, сколько горячности и неукротимого мужества в нем крылось. Вряд ли у кого из нынешних похвальбишек хватит духу совершить подобное, даже для собственного спасения.

В то время все Соединенное Королевство было объято тревогой – опасались французского вторжения. Говорили, что Версаль держит руку Претендента, что неприятель, скорее всего, высадится в Ирландии, и вся знать, все влиятельные люди как в этой, так и в других частях королевства, желая доказать свою преданность, собирали ратников, пеших и конных, дабы должным образом встретить вторгнувшегося врага. Брейдитаун тоже отправил роту для присоединения к Килвангенскому полку, коим командовал мастер Мик. Мастер Улик, со своей стороны, писал нам из колледжа Святой Троицы, что в университете тоже сформирован полк и он удостоен чести служить в нем капралом. До чего же я завидовал обоим, а в особенности ненавистному Мику, глядя, как, затянутый в алый, сверкающий галуном мундир, с лентой на шляпе, он шагает во главе своих молодцов. Этот слабодушный сморчок – капитан, а я – ничто, это я-то, чувствовавший в себе отвагу по меньшей мере герцога Кэмберлендского и знавший, как пойдет ко мне алый мундир! Матушка уверяла, что я слишком молод для военной службы, на самом же деле это она была слишком бедна – стоимость нового обмундирования поглотила бы чуть ли не половину нашего годового дохода, ибо она считала, что сын ее должен явиться в полк, как подобает его рождению, – на кровном скакуне, в безукоризненном мундире, и что дружбу он должен водить с самыми избранными.

Итак, страну лихорадило войной, военная музыка оглашала все три королевства, каждый уважающий себя мужчина спешил явиться ко двору Беллоны, и только я был обречен сидеть дома в своей фризовой куртке и тайком вздыхать о славе. Мастер Мик, то уезжая в полк, то приезжая из полка, привозил с собой все новых сослуживцев. Их щегольские мундиры и бравая выправка ввергали меня в грусть, а замечая, как льнет к ним Нора, я сходил с ума от бешенства. Никому, однако, и в голову не приходило отнести мою печаль за счет молодой леди; все думали, что я тоскую оттого, что мне нельзя идти в солдаты.

Как-то офицеры ополчения давали в Килвангене грандиозный бал; приглашены были, разумеется, все дамы из замка Брейди (надо было видеть этот рой образин, еле умещавшийся в старом рыдване). Я догадывался, какие муки готовит мне Нора, как она всю ночь будет кокетничать с офицерами, и долго отказывался ехать. Однако Нора знала, как меня уломать. Она клялась, что ее укачивает в карете.

– Как же, – плакалась она, – я попаду на бал, если ты не отвезешь меня на Дейзи?

Дейзи была дядюшкина породистая кобыла, и от такого предложения я был не в силах отказаться. Итак, мы благополучно доскакали до Килвангена, и я был горд, как принц, оттого что Нора обещала мне контрданс.

Но только когда танец пришел к концу, неблагодарная кокетка спохватилась, что начисто забыла свое обещание, – она протанцевала все фигуры с англичанином! Бывали у меня в жизни огорчения, но таких мук я еще не испытывал. Нора старалась загладить обиду, но моя гордость встала на дыбы. Немало красоток пыталось меня утешить – ведь я был лучший танцор в зале. Одна из них даже меня уговорила, но, не выдержав этой пытки, я махнул рукой на танцы и всю ночь проскучал один. Я охотно присоединился бы к игрокам, но у меня не было денег, кроме неразменного золотого, – матушка наказывала, чтобы я, как истый джентльмен, всегда носил его с собой в кошельке. К вину я был равнодушен, я еще не знал, какой это пагубный бальзам для души, и думал лишь о том, как убью себя и Нору, но сперва разделаюсь с капитаном Квином.

Наконец к утру бал кончился. Наши дамы отбыли в своем неуклюжем тарахтящем рыдване; вот и Дейзи вывели из конюшни, и мисс Нора взобралась на седельную подушку за моей спиной. Я хранил молчание. Но мы и полмили не отъехали от города, как она начала приставать ко мне с утешениями и уговорами, пытаюсь рассеять мою угрюмость.

– Ах, Редмонд, голубчик, ночь-то какая холодная, ты наверняка простудишься без шейного платка.

На это сочувственное замечание седельной подушки седло отвечало упорной молчанкой.

– Хорошо ли ты провел время с мисс Кланси, Редмонд? Вы, кажется, всю ночь не расставались?

На что седло только скрипнуло зубами и изо всех сил хлестнуло Дейзи.

– Что ты делаешь, глупенький! Хочешь, чтобы Дейзи стала брыкаться и сбросила меня? Разве ты не знаешь, какая я трусиха?

Говоря это, подушка тихонько обняла седло за талию и даже, может быть, чуть-чуть привлекла к себе.

– Я ненавижу мисс Кланси, и ты это знаешь! – не выдержало седло. – Я только потому пошел с ней танцевать, что у той, на кого я рассчитывал, за всю ночь не нашлось ни минуты свободной!

– Надо было приглашать моих сестер! – ответствовала подушка, разражаясь смехом, в горделивом сознании своего превосходства. – У меня, голубчик, в первые же пять минут расхватывали все танцы.

– Так неужто надо было пять раз танцевать с капитаном Квином? – воскликнул я. И вот до чего доводит кокетство! Мне кажется, что у Норы Брейди в ее двадцать три года радостно забилося сердце при мысли, как велика ее власть над простодушным пятнадцатилетним подростком.

Разумеется, она заявила, что капитан Квин несколько ее не интересуется; просто с ним легко танцевать, он занятный собеседник, и притом такой душка в своем военном мундире; и если человек ее приглашает, неужто ему отказать?

– Мне же ты отказала, Нора?

– Вот еще! С тобой я могу танцевать хоть каждый день, – ответила мисс Нора, презрительно вскидывая головку, – да и неудобно танцевать на балу с кузеном, подумают, у меня другого кавалера не нашлось. А кроме того, – продолжала Нора, и это был жестокий, безжалостный выпад, показывавший, как велика ее власть надо мной и как беспощадно она ею пользуется, – а кроме того, Редмонд, капитан Квин – мужчина, а ты – ребенок!

– погоди, вот я встречу с ним, – вскричал я, разражаясь проклятием, – тогда увидишь, кто из нас мужчина! Я намерен драться с ним на шпагах или пистолетах, будь он сто раз капитан! Подумаешь, мужчина! Да я готов биться с любым мужчиной, кто бы он ни был! Разве я не взрел Мика Брейди – и это одиннадцати лет! И разве не поколотил Тома Сулливана, хоть это страх какой верзила и ему все девятнадцать минуло? А помнишь, как попало от меня учителю-шотландцу? О Нора, зачем ты надо мной издеваешься?

Но такой уж стих нашел в ту ночь на Нору, она так и сыпала насмешками: говорила, что капитан Квин показал себя храбрым солдатом, что в Лондоне его знают как человека светского и что сколько бы я, Редмонд, ни хвалился своими победами над учителями и деревенским сбродом, что ни говори, капитан Квин – англичанин, а с англичанином шутки плохи!

Тут она пустилась рассуждать о вторжении и о прочих военных материях: о короле Фридрихе (в те дни он ходил в протестантских героях), о мосье Тюро и его флоте, о мосье Конфлане и его эскадроне, о Менорке, недавно подвергшейся нападению, и о том, где она, собственно, находится; оба мы сошлись на том, что в Америке, и оба надеялись, что французов там как следует взгреют!

Я вздохнул (я уже начинал оттаивать) и заговорил о том, как мне хочется быть солдатом, на что Нора, как всегда, возразила:

– Этого еще не хватало! Значит, ты собираешься меня покинуть? И куда ты годишься, скажи на милость? Разве что в недомерки-барабанщики!

На что я поклялся, что все равно буду солдатом, а со временем и генералом.